

Часть 2. частные случаи

Анна Разуvalова

Выстраивая дистанцию:

РЕЦЕПЦИЯ СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ
В ПУБЛИЦИСТИКЕ ПИСАТЕЛЕЙ-ДЕРЕВЕНЩИКОВ
1970–1980-х ГОДОВ
(СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН И ВИКТОР АСТАФЬЕВ)¹

Anna Razuvalova

Building the Distance: the Reception of Socialist Realist Aesthetics in the Journalism
of Village Prose Writers in the 1970s–1980s (Sergei Zalygin and Viktor Astafyev)

Разуvalова Анна

кандидат филологических наук, доцент департамента филологии факультета Школа гуманитарных наук и искусств, НИУ ВШЭ – СПб arazuvalova@hse.ru

Ключевые слова: социалистический реализм, реализм, авангард, утопия, утопизм, неопочвенничество

УДК: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2025_194_4_154

В статье рассматриваются стратегии размежевания с соцреализмом, использованные писателями-неопочвенниками С. Залыгиным и В. Астафьевым в 1960–1980-е годы. Помимо критики нормативизма соцреалистического искусства и его образцового героя, Залыгин и Астафьев стремились найти эстетическую и идеологическую альтернативу, с одной стороны,

Razuvalova Anna

Candidate of Sciences in Philology; Associate Professor, Department of Philology, National Research University – Higher School of Economics in Saint Petersburg arazuvalova@hse.ru

Keywords: socialist realism, realism, avant-garde, utopia, utopianism, neo-pochvenniki

UDC: 821.161.1

DOI: 10.53953/08696365_2025_194_4_154

The article examines strategies of dissociation from Socialist Realism used by neo-pochvenniki («native-soil populist») writers S. Zalygin and V. Astafyev in the 1960–1980s. In addition to criticizing the normativity of socialist realist art and its model hero, Zalygin and Astafyev sought to find an aesthetic and ideological alternative to Socialist Realism, on the one hand, and modernism and the avant-garde, on the other.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00787, <https://rscf.ru/project/24-18-00787/>, ИРЛИ РАН. («Соцреализм “постмортем” (Поздняя советская эстетика: практики и теория искусства, институции, культурные контексты. 1970–1980-е годы)»).

соцреализму, с другой — модернизму и авангарду. Такой альтернативой был провозглашен реализм, основанный на традиции русской классической литературы. Залыгиным, Астафьевым и целым рядом консервативно-ориентированных позднесоветских интеллектуалов реализм и его противники — соцреализм и авангард рассматривались не только как кардинально различающиеся режимы репрезентации реального и идеального, но как разные стратегии отношения к «действительности» и возможностям ее радикального преобразования.

Grounding themselves in the Russian classical literary tradition, they proclaimed realism to be this alternative. Zalygin, Astafyev, and a number of conservative-oriented late-Soviet intellectuals regarded realism and its opponents (Socialist Realism and the avant-garde) as fundamentally different modes of representation of «the real» and «the ideal», as well as different strategies of relating to «reality» and the possibilities of its radical transformation.

С высокой долей вероятности можно предположить, что привычным для исследователя и читателя по отношению к прозе С. П. Залыгина и В. П. Астафьева будет определение «реалистическая». Сами авторы тоже склонны были считать себя прозаиками реалистического толка, ориентированными на традицию XIX века. Астафьев, например, подчеркивавший значимость для него «стиля традиционного, стиля классической русской литературы»², вспоминал, как ему, «тогда молодому автору, на полях рукописей “знатоки” и эстеты писали: “Густопсовый реализм!”»³

Между тем профессиональный дебют обоих авторов (в случае Залыгина — в 1940-е годы, в случае Астафьева — в начале 1950-х) был тесно связан с литературной культурой соцреализма. Их первые книги⁴ представляли собой типичную позднесталинскую литературную продукцию, появлению которой предшествовало тесное взаимодействие — особенно в случае Астафьева — с институтами литературной учебы, заточенными на «формовку» (Е. Добренко) начинающих авторов-соцреалистов. Тот же Астафьев, помня о пробелах в образовании и стремясь овладеть писательским мастерством, активно использовал существовавшие «на периферии» и доступные молодому литератору возможности: посещал литературный кружок, просил инструкций по организации его работы, пытался получить консультации у редакторов⁵. И хотя позднее, уже в постсоветский период, писатель констатировал, что посещение кружка имело главным результатом успешное овладение «портняжными лекалами»⁶ соцреализма, отрицать влияние соцреалистических культурно-литературных практик на свое писательское становление он не стремился⁷.

2 Астафьев В.П. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 15. Красноярск: Офсет, 1997–1998. С. 60.

3 Там же. Т. 12. С. 571. Впоследствии именно это иронически-снижающее и явно исходившее из враждебной писателю среды определение «густопсовый реализм» Астафьев станет использовать, чтобы отделить группу эстетически и идеологически близких ему писателей-фронтовиков от конвенциональной советской военной прозы (см.: Там же. С. 402).

4 Несмотря на то, что первые публикации Залыгина датируются 1930-ми годами, профессиональным литературным дебютом принято считать сборники «Рассказы» (Омск, 1941), «Северные рассказы» (Омск, 1947). Первый сборник Астафьева «До будущей весны» вышел в Молотове в 1953 году.

5 Астафьев В.П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник. 1952–2001. Иркутск: Изд. Сапронов, 2009. С. 13–14.

6 Астафьев В.П. Собрание сочинений. Т. 1. С. 17.

7 Ср. несколько реплик 1990-х годов.: «Будучи долгое время и сам преданным сыном своего времени, последователем соцреализма... (Там же. Т. 12. С. 450) или «Многие совлитераторы, еще не умея писать, уже владели лукавыми приемами соцреализма

Тем не менее достижение сколько-нибудь зрелого профессионального уровня связывалось Залыгиным и Астафьевым с преодолением соцреалистической эстетики, приобщением в конце 1950-х — 1960-е годы к деятельности центральных культурных институций, расширением круга общения и ориентацией на социально-критическую программу «Нового мира», которая воспринималась как наиболее близкая их гражданским и творческим устремлениям. Тогда же, в 1960-е, оба автора стали последовательно самоопределяться через обращение к игнорируемым соцреализмом сторонам реальности (астафьевские «Солдат и мать», 1959; «Кража», 1966) и проблематизацию объяснительных моделей, описывавших ключевые для советского исторического дискурса события — коллективизацию или Великую Отечественную войну («На Иртыше» Залыгина (1964), «Пастух и пастушка» Астафьева (1967)).

Любопытно, однако, что в середине 1960-х критика продолжала числить наших авторов по разряду соцреалистов, «творчески обновляющих» основной метод советской литературы. Свою книгу о Залыгине (1965) новосибирский критик Н.Н. Яновский закончил следующим пассажем: «Его (Залыгина. — А.Р.) лучшие произведения, несомненно, дополнили и обогатили современную литературу социалистического реализма»⁸. Подобная практика использования критиками двойственных номинаций (согласно ей писатель мог оказаться и реалистом, и соцреалистом) доказывает, что, с одной стороны, представления о соцреализме к середине 1960-х уже утратили строгость и идейную гомогенность⁹, а с другой

и могли, как утята, — только-только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек, владел ими уже и я...» (Там же. Т. 1. С. 15).

8 Яновский Н.Н. Сергей Залыгин. Кемерово: Книжное изд-во, 1965. С. 95.

9 Так, помимо ориентированного на сталинский идеологический и эстетический канон доктринального соцреализма, циркулировала вызванная к жизни XX съездом и «оттепелью» идея соцреализма подлинного — искусства, призванного к «пересмотру сталинской эпохи» и «реалистическому изображению человека сегодняшнего дня» (См.: Лукач Д. Что такое новизна в искусстве? (Социалистический реализм сегодня. 1964) // Вопросы литературы. 1991. № 4. С. 73). В «долгие 1970-е» эта ревизионистская по происхождению идея утратила свой критический потенциал и стала определять практики даже официальной критики, которая с «содержанистских» позиций периодически обрушивалась на сформулированную Д.Ф. Марковым концепцию соцреализма как «исторически открытой системы художественных форм», но тем не менее включала в «идеологический контекст» соцреализма «явления, первоначально либо радикально отвергаемые, либо окруженные ореолом политической подозрительности» (Луновецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 480). Иногда такое включение сопровождалось отбрасыванием определения «социалистический» и акцентированием «реализма» того или иного писателя, иногда на помощь приходили термины «социалистическое искусство» или «социалистическая литература», контекстуально заменявшие соцреализм (хотя идеологические пуристы порицали такого рода синонимии), иногда делались попытки закрепить идеи «оттепельного» гуманизма в самой эстетико-идеологической конструкции соцреализма. Например, в сборнике «Личность в XX столетии» Ю. Боров и М. Стафеецкая, авторы главы «Проблема личности в искусстве XX века», в разделе о соцреализме специально останавливаются на характеристике переломного характера 1950-х годов, когда общество, с их точки зрения, приходит к консенсусу по поводу значимости отдельной личности и соцреалистическое искусство выступает с более сбалансированных позиций, давая отпор как «стадному коллективизму хунвейбинов», так и «буржуазному эгоцентризму» (Личность в XX столетии. Анализ буржуазных теорий / Под ред. М.Б. Митина и др. М.: Мысль, 1979. С. 216).

стороны, причисление автора к соцреализму все еще было полезно для культурной валидации новых имен и творческих манер.

Факт использования двойственных номинаций позволяет сформулировать как минимум еще две исследовательских проблемы: одна касается стратегий самоописания и самопрезентации, выработанных писателями «разрешенной фронды»¹⁰, которые — дабы отстроиться от соцреализма — стремились опереться на культурные ресурсы реалистической традиции; другая связана с изучением порядков взаимодействия в послевоенный период двух теоретических и историко-литературных моделей, двух, иногда взаимно перекрывающих друг друга, дискурсивных полей, двух режимов репрезентации — реализма и соцреализма. Последняя из обозначенных выше проблем в силу ее обширности заслуживает рассмотрения в специальной статье, здесь же ограничимся формулировкой нескольких общих положений, сосредоточившись на анализе уклончивой полемики деревенщиков с соцреализмом и попытках, свойственных широкому кругу позднесоветских интеллектуалов, в том числе неопочвеннического направления, утвердить реализм в статусе наиболее убедительной альтернативы как соцреализму, так и модернизму-авангарду.

Реконструкцию писательских стратегий растожествления с соцреализмом и оснований критики советского проекта стоит предварить еще одним замечанием: сделав первые литературные шаги в соцреалистической культуре, Залыгин и Астафьев вплоть до перестроечных времен предпочитали обходиться без обсуждения раннего этапа своего творчества и феномена соцреализма как такового. 1970-е годы в определенном смысле были для них периодом молчания о теории и практике соцреализма¹¹, но молчание это обернулось выработкой замещающих, адаптированных к условиям подцензурной культуры форм рефлексии о репрезентации реальности и модусах отношения к ней. Мы предполагаем, что для Залыгина, Астафьева¹² и значительного числа советских ин-

10 Обычно введение в научный оборот термина «дозволенное инакомыслие» (синонимичного используемому нами определению «разрешенная фронда») связывают с работой: *Spechler D. Permitted Dissent in the USSR: Novy Mir and the Soviet Regime*. New York: Praeger, 1982.

11 Неудивительно, что в ретроспективе единомышленниками-традиционалистами деревенщики воспринимались как авторы, сознательно исключившие соцреализм из поля своего внимания и тем самым деактуализировавшие его. См.: «Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если б никакого “соцреализма” не было объявлено и диктовано...» (Солженицын А.И. Слово при вручении премии Солженицына Валентину Распутину 4 мая 2000 года // Новый мир. 2000. № 5. С. 186).

12 Оговоримся, что круг героев этой статьи мог бы быть шире: например, в него можно было включить Ф. Абрамова и Б. Можая, чья профессиональная социализация тоже началась в позднесталинский период. Сделать это мы планируем в следующих статьях. Сейчас же нам было принципиально важно остановить внимание на авторах, для которых образцы соцреализма сначала сыграли обучающую роль, а затем (в довольно короткий срок) превратились в объект отталкивания, продолжавший по принципу «от противного» еще какое-то время определять представления Залыгина и Астафьева о том, что такое «правда» в литературе, как «быть писателем», где искать альтернативу соцреалистическому нормативизму и ресурсы для культурной самолегитимации. Другими словами, проза, публицистика и эпистолярный Залыгина и Астафьева позволяют составить не исчерпывающее, но достаточно полное представление о том, как в имплицитной полемике с соцреализмом формировались неопочвенническая коллективная идентичность и более широко — позднесоветский консервативный лексикон.

теллектуалов соцреализм в 1960-е и позднее, в 1970–1980-е годы, еще оставался конституирующим Другим, — не столь значимым как авангард или модернизм, но все же довольно важным, чтобы в имплицитной полемике с ним формировать собственную версию реалистической эстетики, основанной на «опыте» и «правде» и обнаруживающей, как полагали ее приверженцы, исключительную зоркость в отношении подрывающих традицию культурно-идеологических феноменов.

От соцреализма к реализму и реальности

В 1997 году в одном из своих эссе Залыгин в пик экономического детерминизму десятилетия, но в полном согласии с «культуроцентризмом» позднесоветской интеллигенции заявлял, что природу государственной формации обуславливает ее культура. Традиционалист Залыгин объяснял историческое поражение социализма тем, что, несмотря на наличие политической идеи и футуроориентированной теории социалистического строительства, у социализма не было прочного культурного фундамента: «дальше соцреализма» с его уничижительным отношением к предшественникам он не продвинулся¹³. Отождествление в этом тезисе соцреализма с отрицанием традиции и культурного наследия исторически не совсем корректно, но примечательно с точки зрения писательского самоопределения¹⁴: соцреализм у Залыгина — синоним «советского», а «советское» — синоним радикального разрыва с прошлым, проявление столь страшившего неопочвенников исторического и культурного беспамятства (мощный квазитрадиционалистский импульс соцреализма, благодаря которому укрепился привилегированный статус реалистического искусства, Залыгин либо не различал, либо игнорировал).

Цитируя в том же эссе «Культура, демократия и тоталитаризм» фрагмент из словарной статьи о советской культуре в Большой советской энциклопедии (1953), Залыгин находит его темным и схоластичным, но признает, что эта «темнота» не вызывала в нем протеста: «Никак не вспомню, что же все-таки я думал, читая всю эту абракадабру в те, 50-е годы? Вернее всего — ничего не думал»¹⁵. Залыгин, судя по всему, точен в описании практиковавшегося им в 1950-е инерционного режима чтения подобных текстов. Инерционным был и механизм их производства: без усвоения определенных сюжетно-стилевых и

13 Залыгин С. Культура, демократия и тоталитаризм // Новый мир. 1997. № 8. С. 158.

14 В позднесоветский период неопочвенники от публичных умозаключений об антитрадиционализме соцреализма, конечно, воздерживались, но активно критиковали антитрадиционализм авангарда. Так они вступали в незапланированный, но тактически выгодный дискурсивный альянс с теоретиками соцреализма, специализировавшимися на разоблачении тех же противников — модернизма, авангарда, модернистских представлений о современном субъекте, которого умеренно фрондировавшие неопочвенники и адепты соцреализма равно хотели видеть «сложным», но при этом «целостным». Для позднего же Залыгина установление оттенков антитрадиционализма авангарда и классикоморфных литературных форм, наподобие соцреализма, не имело смысла. В 1990-е годы писатель уже мог оперировать удобными для манифестации его взглядов обобщенными представлениями о классике-традиции и социалистическом искусстве (авангард и соцреализм), проинтерпретированном как драматический прецедент покушения на эту традицию.

15 Залыгин С.П. Культура, демократия и тоталитаризм. С. 163.

нарративных моделей советский профессионал письма состояться не мог, и этот необходимый этап профессионализации Залыгин и Астафьев прошли в 1940-е — первой половине 1950-х. Однако как раз в начале 1950-х высокая степень сюжетно-риторической предзаданности, культурно-идеологическая сверхидиоматичность соцреалистического письма и их эффекты («бесконфликтность», отсутствие эмоциональной аутентичности/«искренности») становятся объектами осторожной критики соцреализма изнутри (например, в «новомировских» статьях В. Померанцева и Ф. Абрамова). Ее пафос подхватили начинавший тогда печататься в столичных издательствах Залыгин и литератор-«периферийщик»¹⁶ Астафьев, которые затем в течение длительного времени оперировали аргументами, введенными в критический оборот в 1952–1954 годах. Оба автора видели слабость соцреализма в равнодушии к «реальности», превалировании должного над сущим, отказе от действительности в пользу воспроизведения ее нормативной версии. В статье «О ненаписанных рассказах» (1954) Залыгин корил коллег за приверженность «искусственн[ым] литературн[ым] построени[ям]»¹⁷ и пересказывал некоторые «сюжеты-измышления»¹⁸:

Девушка едет на пароходе после окончания института. В пути она знакомится с летчиком. Любовь. А через полгода вблизи лесной полосы, которую она создает в степи, приземляется для борьбы с вредителями самолет и из него выходит, конечно, он, тот самый летчик.

Другая девушка, кончившая институт, едет в поезде в день смерти Сталина, и поезд делает пятиминутную траурную остановку на том самом разъезде, на котором выросла девушка, а дети из той школы, в которой она училась, вручают ей черный букет из бумажных цветов с просьбой отвезти его в Москву¹⁹.

Большинство «северных» рассказов самого Залыгина (например, «Пик половодья, 1950) тоже опирались на легко идентифицируемые сюжетно-повествовательные и характерологические модели, выработанные соцреализмом, и, возможно, автор даже осознавал их эпигонский характер, но примечательным

16 Астафьев В.П. Нет мне ответа... С. 31.

17 Залыгин С.П. Искусству много дела на земле. М.: Советская Россия, 1964. С. 9.

18 Там же.

19 Там же. С. 9–10. Аллюзии на ситуацию посадки самолета в степи возникнут в позднем рассказе Залыгина «“Проза”» (1985), где на другом материале он вернется к излюбленной идее — бессилие «искусственных литературных построений» перед реальностью. Старший инженер-сантехник Владимир Густов, автор-повествователь в написанной от первого лица «“Прозе”», стремится стать профессиональным писателем (с регулярными публикациями, признанием со стороны критиков и читателей, соответствующими признаками статусности) и придумывает сюжет, чья философичность должна поразить редактора. Речь в рассказе, содержание которого мы восстанавливаем по репликам Густова и оценкам литконсультанта, идет о вынужденной посадке самолета в степи и отделившейся от толпы пассажиров, ушедшей в степь и «забытой» там неизвестной женщине. Претенциозная и навязчивая аллегоричность очередного «рассказа-измышления» — на этот раз не о реализации сталинского плана преобразования природы, а об одиночестве в эпоху НТР — нажимом противопоставлены «прозе жизни», которая, по Залыгину, и есть источник подлинной литературы. В предсказуемом финале «“Прозы”» для публикации редактор отбирает не «Вынужденную посадку», а написанные Густовым вне тематической конъюнктуры и нормативных сюжетных схем, не предназначенные для печати заметки о себе — своеобразную этнографию повседневности и сознания рядового литератора.

образом затушевывал сюжетно-риторическую ходульность изображаемого очерковостью и знанием «материала», которые критика почти сразу стала считать отличительной особенностью его манеры. Дефицит «реальности» Залыгин в 1950-е и позднее предлагал восполнять опытом, приобретаемым не только специфичным для писателя способом, но и через нелитературные профессии²⁰: художнику в его понимании в буквальном смысле нужно было стать «ближе к жизни».

В случае с Астафьевым импульс к написанию первого рассказа («Гражданский человек», 1951) и спонтанные претензии к соцреализму также возникли из переживания глубокого зияния между опытом, на этот раз глубоко личным, и его нормативной репрезентацией. Впоследствии писатель не раз возвращался к эпизоду посещения им литературного кружка, где один из участников читал свой опус о встрече односельчанами вернувшегося с войны героя-летчика. Но, добавляя или, напротив, купируя некоторые детали, меняя тональность повествования о том событии²¹, он неизменно подчеркивал несогласие с «ложью» конвенционально-соцреалистического нарратива, отрицавшего, с его точки зрения, реальность послевоенного существования самого Астафьева и множества других фронтовиков.

Примечательно, что искусственности и нормативности соцреалистической картинки («отображению отображенного»²²) оба писателя в духе социально-

20 Интересен способ, которым в начале 1950-х Залыгин проблематизирует представления о функциях советского писателя. В уже упоминавшейся статье «О ненаписанных рассказах» (1954) он воспроизводит хорошо знакомый литераторам призыв «изучать жизнь», но заявляет, что привычная практика творческих командировок на «объект изображения» ожидаемого эффекта не дает. Писателю, претендующему на знание и понимание жизни, с его точки зрения, нужно «иметь свою собственную нелитературную биографию» (Залыгин С.П. Искусству много дела на земле. С. 11). Очевидно, наличие подобной автобиографии — важный фактор самолегитимации для Залыгина, инженера-гидромелиоратора по образованию, но это и рецепт преодоления кризиса в разобщенной с реальностью позднесталинской словесности: чтобы не впасть в зависимость от конвенциональных литературных форм (подобную зависимость демонстрирует соцреалистическая проза и ее авторы), необходимо самоосуществление в каком-либо еще профессиональном поле, позволяющее сомкнуть реальность и литературу. Ориентиры Залыгин отыскивает, как обычно, в литературной культуре XIX века («...будучи великими писателями, Толстой учительствовал, Чехов занимался врачебной деятельностью, Лермонтов оставался офицером» (Там же. С. 14)), и впоследствии сознательно культивирует в своем поведении черты, растождествлявшие его с фигурой советского «профессионала пера». См., например, впечатления критика И. Дедкова от встречи с Залыгиным в 1978 году: «Залыгин мне понравился. В нем нет совсем того, что отталкивает меня более всего: напускной значительности, вельможности. Слушать его было тем более приятно, что в его воспоминаниях и рассказе... было мало специально-литературного. То есть он выглядел человеком жизни, а не какой-то избранной касты. Это было и в его внешности, и в его манерах, и в интонациях» (Дедков И.А. Дневник, 1953–1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005. С. 210).

21 Если сравнить версии описания этого события в очерке «Сопричастный всему живому» (1973) и в открывающей астафьевское Собрание сочинений статье «Подводя итоги» (1992–1996), то в первом случае перед нами стилистика мемуарно-биографического повествования о «трудных временах», а во втором — почти памфлетный текст, перенасыщенный типизирующими деталями и ироническими комментариями, которые, вероятно, были призваны превратить историю написания и публикации «Гражданского человека» в выразительную иллюстрацию пороков советской литературы и советского порядка.

22 Залыгин С.П. Искусству много дела на земле. С. 7.

критических литературных программ 1960-х противопоставили «опыт» и «правду», доказывавшие наличие у художника прямой эмоциональной и социальной связи с реальностью, жизнью, запечатленной в «формах самой жизни»²³. Позднее, во второй половине 1970-х — начале 1980-х, отсылающее одновременно к натуралистической и неоромантической традициям убеждение неопочвенников в приоритетности жизни как предмета изображения и источника переживания критика сочтет доказательством их особой приобщенности к бытию и заговорит об «онтологических» смыслах их прозы²⁴, хотя по существу «онтологизм» был попыткой в соответствии с изменившейся культурной повесткой найти новую формулу для взаимоотношений художника с реальностью, в которой отныне социально-эмпирическое виделось как часть универсального природно-космического, но которая по-прежнему представляла собой «нечто существенное, устойчивое, заслуживающее серьезного отношения»²⁵.

Со второй половины 1960-х осторожный спор неопочвенников с соцреализмом касался не столько формул жизнеподобия, сколько идеологически нагруженной конструкции современного героя, чья генеалогия была связана с концептуальным ядром советского проекта — представлениями о новом человеке. Ценность каноничных для соцреализма героев и произведений пытался переопределить Астафьев, когда в статье «Беседы о жизни» (1965), содержащей вопросы от читателей пермской газеты «Молодая гвардия», высказался о романе, впечатлившем его в подростковом возрасте и впоследствии не раз упомянутом в качестве образца соцреалистического письма²⁶, — «Как закалялась сталь» Н.А. Островского. Астафьевский ответ на вопрос: «Почему в современной советской литературе нет героев, подобных Павлику Корчагину?», — пространен, помещен в сложноустроенный историко-литературный контекст, снабжен развернутой аргументацией (что объяснимо, учитывая идеологически-чувствительную тему), но достаточно внятен:

23 Ср. реплику Астафьева в очерке «Сопричастный всему живому» о литературной задаче-максимум: открыть читателю мир таким, «чтобы писаное и не чувствовалось вовсе» (Лауреаты России: автобиографии российских писателей. М.: Современник, 1980. С. 25).

24 Белая Г.А. Художественный мир современной прозы. М.: Наука, 1983. С. 142.

25 Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии. М.: Молодая гвардия, 1989. С. 30.

26 В 1990 году Астафьев пишет «затесь» «Так закалялась сталь», содержащую воспоминания о двух событиях: чтении в Игарской школе, видимо, в 1936–1937 годах романа Островского и общении в Молотове на творческом семинаре в середине 1950-х с А.А. Караваевой, работавшей вместе с М.Б. Колосовым над текстом «Как закалялась сталь». Соположение истории одноклассницы, избитой отцом после жалобы учительницы на злонамеренное истолкование романа (степень достоверности изображенного события в данном случае установить сложно), и рассказа Караваевой, невольно обнажившей механизмы производства важнейшего текста соцреалистического канона, актуализировали мотивы насилия (физического и дискурсивного, принуждающего к «верной» интерпретации) и лжи, которые поздний Астафьев считал основаниями советского порядка. Любопытно, что в хронологически более раннем, чем упомянутая «затесь», письме Г.К. Сапронову (от 18 июля 1985 года) Астафьев крайне резко отзывался о «проекте Островский» и личности писателя, попутно признавая глубокую трансформацию прежних основ своего мировоззрения: «Как закалялась сталь» — «подловато-ремесленная книжка, состряпанная Караваевой и Колосовым по снятым матрицам Николая Островского, мудака, в моем нынешнем понимании, весьма и весьма изрядного, наделавшего много вреда всем нам» (Астафьев В.П. Нет мне ответа... С. 356).

Сотни раз повторенный читателями нашими и критикой нашей вопрос о Павке Корчагине я считаю несколько устаревшим и демагогичным, ибо предполагаю, что все русские люди знают русскую поговорку: «Каждому овощу — свое время». <...>

Я веду прямой разговор, иначе не взялся бы за эту статью! Я считаю, что тоже имею право на вопросы, потому и задаю один вопрос Вам, товарищ Чердак (автор вопроса в газету. — *А.Р.*), и всем, кто любит спрашивать про Павку Корчагина: «Возможен ли нынче герой, подобный Павке Корчагину?»

На мой взгляд, невозможен и, более того, не нужен²⁷.

Не приемлющий «сложности» и «противоречивости» современных молодых героев «исповедальной прозы» и ищущий органики народного характера, Астафьев в рассуждениях о Корчагине инверсирует антитезу сложности — простоты. Оказывается, современность требует более сложных типов, нежели Корчагин:

... те способы и художественные средства, та форма, тот образ мыслей и уровень интеллекта, с которым в свое время жил, боролся и побеждал герой, подобный Павке Корчагину, нынче, по-моему, непригодны. Все должно быть сложнее, многообразней и шире. Внутренний мир современного большого героя требует собой «отмычки». Я, например, таковой пока не имею²⁸.

Астафьевское замечание об устарелости корчагинской редакции героизма по своему симптоматично для культурного воображения второй половины 1960-х с его стремлением проверить, насколько совместимы порядки прошлого и настоящего и каким настоящим обернулся «прыжок в будущее». Все эти темы попадают в фокус внимания Астафьева в переписке 1966–1967 годов — периода, когда страна готовилась праздновать и праздновала 50-летие Октябрьской революции: писатель подхватывает официальную риторику подведения итогов, но настойчиво фиксирует ироническое расхождение картинки и реальности²⁹ — презентуемых публично достижений революции и их парадоксального влияния на жизнь «народа» — общности, населявшей провинцию

27 Астафьев В.П. Собрание сочинений. Т. 12. С. 79.

28 Там же. С. 80.

29 Картографируя реализм 1960-1970-х годов, то есть буквально определяя его территориально-географическую локализацию, можно обнаружить, что реалистическая оптика с ее сфокусированностью на «низкой» действительности часто получала неформальную поддержку именно «на периферии», где она становилась частью идентичности дистанцировавшихся или дистанцированных от центра писателей. Собственно, неопочвенники, жившие в деревнях или провинциальных городах, рядом с теми, кто не захотел или не сумел покинуть сомнительное с точки зрения социальных перспектив пространство, свою задачу видели в том, чтоб указать на не замечаемый из столицы регион реальности. Ср. продиктованное натуралистическим пафосом погружения в необлагороженную материальность русской провинции высказывание Е.И. Носова (в письме Астафьеву он передает содержание своего незапланированного выступления на Пленуме критиков в 1966 году): «Говорили о прозе 65 года. Я толком не слышал... Но в общем-то был бестолковый треп, неподготовленный, кто во что горазд. Выступать я не собирался. Но взял слово Бровман, стал выпендриваться по семинским “Семеро в одной лодке” (речь о повести В. Семина «Семеро в одном доме». — *А.Р.*) — де, не показал редакционного коллектива, то-се, вещь ущербная... Я разозлился и давай разрисовывать курские трущобы, где бьют баб, вешают им фонари, колотят детишек, разгульно и дико пьют, где живут барыги, стекольщики, оседлые цыгане, разный зачуханный мастеровой и толкучий люд, где до мая ходят в резиновых сапогах и, выбравшись на центральную улицу, на асфальт,

и деревню, территориально и социально более далекой от просветительски-модернизаторских эффектов революции, нежели жители крупных городов:

А вчерась деревня наша шумела — Крещение праздновали быковцы. Брагу пили и песни пели. Время мало касается наших российских людей. Больше это касается транспортных средств — лошадей не стало, так ходят пешком и носят на себе грузы разные: котомки, вязанки сена, вязанки дров.

А нравов? Нравов все-таки почти не коснулось время. Так маленько, краешком. Если сопоставить изменения и разруху в природе с людьми деревенскими, то можно подумать, что везде и всюду еще стоят дремучие леса и реки все чисты. А тут по радио трезвон: «сдвиги», «величайшая эпоха», «революция в самосознании людей», «шаги саженьи», «на пороге...»

Конечно, Быковка — деревня нетипичная, да вот беда, деревень таких у нас несть числа, и в городе люди живут все больше из деревень же, да и там умудряются сохранить свою «косность» и привязанность к обычаям. Видно, не так-то просто вытряхивать из людей то, чего тысячелетиями в них вращалось. Сколько все-таки работы для мысли в наше время! Сколько вопросов задали человечеству эти наши пятьдесят лет! Ах, если бы все осмыслить и взвесить трезво, философски, задавши хотя бы один суровый себе вопрос — были ль мы готовы к революции? И стояла ли овчинка выделки?³⁰

Астафьев мыслит в консервативной логике: человек не пластичен, а инертен, в нем оседает историческое и культурное содержание прошедших исторических эпох, он конституирован традиционными культурными практиками, которые невозможно искоренить пропагандированием новых ценностей. Сомнения писателя в проекте социализма («стояла ли овчинка выделки?») и деактуализация соцреализма, чьи канонические произведения и герои (тот же Корчагин) оказываются глубоко анахроничны, тоже содержат консервативную интенцию: человек и общество меняются медленно³¹ — и едва ли под влиянием идей, эмоциональных и поведенческих моделей, поставляемых искусством (например, соцреалистическим). Именно из консервативной перспективы объясняет Астафьев разрыв между прокламируемым и существующим, концептуализируя его как эффект, с одной стороны, характерного для современности удаления от «подлинного» и «природного», с другой — ненадежности некогда щедро выданных обетований новой жизни и форм социальности.

По существу, в поле астафьевской рефлексии попадают превратности воплощения утопии и связанный с этим комплекс эмоций. На то, что категории «утопия» и «утопическое»³² присутствовали в воображении писателя как знаки рассогласования с реальностью, косвенно указывает упоминание Т. Кам-

оскребают грязь о поребрики и пр. Московские небожители слушали и удивлялись: “Как, мол, так? Разве у нас еще есть такое?”» (цит. по: *Астафьев В.П.* Собрание сочинений. Т. 14. С. 21).

30 *Астафьев В.П.* Нет мне ответа... С. 102–103.

31 Ср.: Там же. С. 129.

32 В исследовательской литературе предметом рассмотрения были и отношение неопочвенников/неотрадиционалистов к соцреализму и «советской утопии» (согласимся тут с И. Каспэ, заметившей, что, несмотря на значительное число работ по этой теме, «советская утопия» остается «размытым и неоперациональным термином» (*Каспэ И.* В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 8)), и утопические нарративы в их прозе

панеллы³³ и Города Солнца. Иронически Городом Солнца (в авторском написании — городом солнца) именуется Норильск, к истории создания которого Астафьев обращается в главе «Норильцы» («Не хватает сердца»³⁴) повествования в рассказах «Царь-рыба». В окончательной редакции главы он будет разоблачать «логику утопического оборотничества»³⁵ и доказывать, что осуществление социального идеала, материализованного в возводимом в условиях вечной мерзлоты городе, привело к результатам, прямо противоположным ожидавшимся. Астафьевское повествование о заполярном Норильске, который предстал перед посетившим его в 1971 году канадским премьер-министром П. Трюдо «городом фонтанов, дворцов, монументов»³⁶, опровергает победно-оптимистичную официальную версию появления на севере крупного индустриального центра. Мотивы, генеалогию которых можно возвести к социал-утопическому имажинарию советской культуры, последовательно выворачиваются автором «Царь-рыбы» наизнанку: «земля обетованная»³⁷, какой заполярный берег виделся ээкам после мучительного путешествия на барже, оказывается местом смерти, «город солнца»³⁸ возводится на костях, продуктом мечтаний о «новом человеке» становится «советский баринок»³⁹ — современный материально обеспеченный, но лишенный памяти норильчанин.

Не тематизированная, но легко читаемая семантика крушения «утопического» может свидетельствовать о стремлении Астафьева в 1970-е годы более сложным образом объяснять когда-то возмущившую его «отмену реальности

(см.: *Parthe K.F. Russian Village Prose: Radiant Past. Princeton University Press, 1992; Гройс Б. Утопия и обмен. М.: Знак, 1993; Ковтун Н.В. «Деревенская проза» в зеркале утопии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009*). Для нашей статьи существенно замечание Б. Гройса о стремлении позднесоветского неотрадиционализма, эксплуатируя идею «связи времен», представить соцреализм и авангард проявлением духовного нигилизма и найти ему альтернативу (*Гройс Б. Утопия и обмен. С. 16–17*).

33 Один из наиболее известных советскому читателю утопистов Т. Кампанелла (1568–1639) и его утопический трактат «Город Солнца» были объектом восхищения юного Астафьева, однако со временем аллюзии на Кампанеллу становятся более ироничными. См., например: *Астафьев В.П. Собрание сочинений. Т. 5. С. 109; Астафьев В.П. «Нет мне ответа...» С. 94.*

34 Глава «Норильцы» должна была стать частью повествования в рассказах «Царь-рыба», готовившегося к публикации в «Нашем современнике» (1976), но на стадии подготовки текста к предварительному прочтению цензурой была изъята редакторами журнала. Впоследствии она была переработана автором и под названием «Не хватает сердца» опубликована все в том же «Нашем современнике» (1990. № 8). Обстоятельства написания и публикации этой части «Царь-рыбы» позволяют предположить, что целенаправленный демонтаж Астафьевым утопического нарратива был результатом как минимум двухэтапной работы над текстом — в 1970-е и в конце 1980-х годов, когда критика осуществленных утопий, разоблачение «утопического оборотничества» стали топосами общественных дискуссий (писательскую версию работы над главой см.: *Астафьев В.П. Собрание сочинений. Т. 6. С. 27–29*). Однако со всей определенностью судить о характере и хронологии правок, внесенных писателем в первоначальный вариант главы, о нагнетании «антиутопической» семантики можно будет при сопоставлении нескольких редакций «Норильцев».

35 *Гальцева Р.А. Знаки эпохи. Философская полемика. М.; СПб.: Центр гуманитарных исследований, 2009. С. 10.*

36 *Астафьев В.П. Собрание сочинений. Т. 6. С. 74.*

37 Там же. С. 90.

38 Там же. С. 72.

39 Там же. С. 71.

соцреализмом. Теперь подобная «отмена» ассоциативно соотносилась с проектами глобальной социальной перепланировки, вступающими с реальностью и «жизнью» в конфликт, вызывавшими непредсказуемые, иногда катастрофические последствия, ввергающие общество в разочарование и фрустрацию⁴⁰.

Стремление применить объяснительную модель «реализованной утопии» к советскому опыту социального проектирования и сопротивляющейся ему «реальности» (или «жизни», поставленной им под угрозу), на наш взгляд, вообще было свойственно позднесоветскому консервативному воображению. Эксплицитно и наиболее последовательно критическая рефлексия социалистического учения и советского опыта построения социализма как попытки осуществить утопию разворачивалась в «долгие 1970-е» в эмигрантской и диссидентской политической мысли и историософии⁴¹. В области подцензурной культуры изучение утопии имело форму академических штудий по истории домарксистских (социал-)утопических построений⁴² и критики утопизма современного буржуазного сознания, в частности «новых левых»⁴³. Однако в нашем случае важны не столько варианты специфицированной рефлексии утопии и утопизма, сколько варианты артикуляции скепсиса в отношении «утопического», связываемого с насилием над «жизнью».

Его (скепсиса) дискурсивно-риторические следы обнаруживаются в обширном смысловом поле, созданном позднесоветской критической рефлексией современности и соответствующим репертуаром тем: «истончение» реальности

40 Возможно, это еще один из эмоциональных истоков постсоветских неопочвеннических представлений об усталости сломленного социально-историческими «экспериментами» народа. См., например: *Астафьев В.П.* Надсаженный мы народ (беседу вела Л. Рак) // Труд. 1997. 30 мая. С. 8.

41 Речь идет об авторах, примкнувших к традиции послевоенной критики утопизма. Попытки построения идеального общества и создания Нового человека нередко понимались ими как политически, социально и духовно опасная девиация, ведущая к формированию тоталитарного порядка. С разной степенью последовательности и фундированности эти идеи обсуждались И. Шафаревичем в «Социализме как явлении мировой истории» (1974, 1977), М. Геллером и А. Некричем в «Утопии у власти» (1982), В. Варшавским в «Родословной большевизма» (1982), Г. Померанцем в «Снах земли» (1984), М. Геллером в «Машине и винтиках. Истории формирования советского человека» (1985).

42 В «долгие 1970-е» интенсивно развивались академические отрасли, связанные с изучением народных социальных утопий (К.В. Чистов, А.И. Клибанов), домарксистского утопического социализма (В.П. Волгин, И.Н. Осинковский, А.Э. Штекли и др.). Для Р.А. Гальцевой критика онтологических оснований модернистского утопизма определила теоретическую рамку чтения русских религиозных философов (Н. Бердяева, П. Флоренского, Л. Шестова и др.). Впоследствии И.Б. Роднянская подчеркивала, что первая книга Гальцевой «Очерки русской утопической мысли XX века» (1992) носила такое название не только потому, что «религиозной» тогда писать было еще непозволительно, но и потому, что внятно и «честно» обозначала ракурс взгляда и методику чтения источников — «операцию изобличения» «несообразностей, утопических примесей в <...> философских системах или воззрениях» героев Гальцевой (Роднянская И.Б. О Ренате Гальцевой со скорбью и с любовью (URL: <https://gostinaya.net/?p=22402>)).

43 См., например: *Давыдов Ю.Н.* Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. М.: Наука, 1977; *Он же.* Бегство от свободы. Философское мифотворчество и литературный авангард. М.: Художественная литература, 1978; *Личность в XX столетии. Анализ буржуазных теорий.* М.: Мысль, 1979; *Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б.* Социология контркультуры: Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь. М.: Наука, 1980.

в условиях развития техники и масс-медиа, угроза «органическому» со стороны НТР, превращение «жизни» в пространство для социального экспериментирования, принесение ее в жертву проектам, теориям, формулам, разоблачение притязаний сциентизма на объяснение «тайн» человеческого существования и т.п. Подозрительностью к современности были заряжены периодически возникавшие в публичном пространстве дискуссии с участием интеллектуалов консервативного и/или либерально-консервативного толка. Так, во время обсуждения монографии П.В. Палиевского «Пути реализма» (1975) критики, сочувственно воспринявшие книгу, чьим внутренним сюжетом была борьба реализма с авангардизмом и претензиями дегуманизирующего сциентизма (среди прочего в формах научно-технических утопий 1960-х), утверждали: да, книга пристрастна, но пристрастность позиции литературоведа оправдана его протестом против «химерических идей, берущих власть над человеком», «абстракций, исследуемы[х] в момент зарождения<...>, шабаш[а] символов, словес, мифов, подменяющих человека»⁴⁴. Перечень обнаруженных Палиевским и дополненных критиками угроз реализму, синонимичному «органике, целости, незаместимости, изначальности жизни», «теплому и здравому, выращенному многими веками, человеческому смыслу (“обыденному сознанию”)»⁴⁵, был солидным. И. Роднянская говорила о «ложном прогрессе, призрачных общих принципах — “универсалиях”, тщеславной научности»⁴⁶, И. Золотусский — о «натиске самоослепленной в своем азарте постичь все математической формулы»⁴⁷. В заключавшем дискуссию слове от лица редакции «Вопросов литературы» автору советовали поразмыслить о «качественно новых по сравнению с критическим реализмом гуманистических принципах советского искусства»⁴⁸, но антисциентистский пафос книги Палиевского признавался законным. Более того, было очевидным, что выбранный Палиевским сколь нормативный, столь и провокативный предмет исследования (эстетика и аксиология реализма) дает возможность артикулировать в публичном пространстве значимые для консервативной культурной повестки вопросы.

К концу 1980-х в лексиконе консерваторов «реализм» и «утопия» фигурировали как идеологически и эмоционально нагруженные понятия, референциально соотносимые с широким кругом социо-исторических, политических, культурных феноменов и представлявшие профессиональному философу Ю.Н. Давыдову достаточно эвристичными, чтоб описывать философско-исторические развилки XX века через парадигматическое противостояние «утопии» и «реализма». Первая, полагал Давыдов, производит и обслуживает «искусственно сконструированные мифы», второй ориентирован на «изначальные структуры человеческого бытия» и проявляет «высокую степень уважения к тому, что есть, что остается пребывающим... в человеческом бытии и постигается <...> в меру нашей способности подражать ему, уподобиться ему, принять его как образец»⁴⁹. Речь идет о реализме в широком смысле,

44 Литературный процесс и методология критического анализа. Обсуждение книги П. Палиевского «Пути реализма» // Вопросы литературы. 1975. № 8. С. 110.

45 Там же. С. 79.

46 Там же.

47 Там же. С. 105.

48 Там же. С. 124.

49 Давыдов Ю.Н. Судьбы науки и приключения литературной теории // Вопросы литературы. 1987. № 12. С. 45–46.

восходя[щем] к «мимесису» Аристотеля, если понимать под ним подражание космосу... Такой реализм неизменно противился суетливому и тщеславному устремлению перекраивать реальность (саму реальность, то есть, если иметь в виду собственно человеческую реальность, условия возможности существования человека как человека), торопясь навязать ей очередную скороспелую «схему», «безумную идею» и пр. Этот реализм одинаково присущ и реалистическому направлению в литературе и искусстве XX века, и соответствующему направлению в литературоведении и теории литературы. Однако нельзя не видеть и того, что в наш век этот — подлинный, а не плоско-позитивистский, и превращенный в лубочную картинку — реализм был самым серьезным образом потеснен литературно-художественными (и, соответственно, теоретическими) направлениями, которые, апеллируя к «современной науке», противопоставляли реальности сущей и пребывающей реальность конструируемую и «построяемую»⁵⁰.

На специфичном для позднесоветского консервативного языка конструкте «реализма», спасающего «реальность» от утопии, имеет смысл остановиться подробнее.

От реальности к утопии (и обратно)

В «долгие 1970-е» привилегированность реализма объяснялась, с одной стороны, его отождествлением с классикой, с другой — ролью предтечи по отношению к соцреализму. Доктринально закрепленная значимость реализма в качестве основополагающего для соцреалистического искусства принципа познания и отражения казалась непоколебимой еще с 1930-х годов, хотя при ближайшем рассмотрении очевидно, что набор аргументов в пользу «нераздельного и неслиянного» сосуществования реализма и соцреализма не был стабильным. Изменения в общественно-культурной повестке, перипетии конкуренции двух систем требовали от советских «профессиональных доктринеров»⁵¹ отвечать на новые идеологические вызовы, подтверждая незыблемое первенство социализма и соцреализма. Но коррективы, дозированно вносимые в официальную соцреалистическую эстетику, часто оказывались производным от переописания функций реалистического субстрата соцреализма.

Тесная связь и активное взаимодействие дискурсов соцреализма и реализма в очередной раз обнаружили себя во второй половине 1950-х, когда события XX съезда запустили процесс критической оценки инструментов построения социалистического общества и породили шквал ревизионистских работ. Их авторы (в основном левые западные интеллектуалы и представители восточно- и центральноевропейских литератур) задавались вопросами об актуальности соцреалистического искусства и необходимости следовать сформировавшимся еще во второй половине 1930-х годов представлениям о нем. Рефреном ревизионистских выступлений была идея расширения эстетической платформы соцреализма, который мог бы интенсивнее взаимодействовать с модернистскими и авангардистскими течениями, не заслоняясь от новых

⁵⁰ Там же. С. 46.

⁵¹ Бикбов А. Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: ИД ВШЭ, 2014. С. 36.

конструкций субъекта и понимания субъектности (прежде всего сформированных психоанализом и переживанием травматического опыта Второй мировой войны).

Дебаты о реализме второй половины 1950-х — начала 1960-х годов (центральным событием тут стала масштабная дискуссия «Проблемы реализма в мировой литературе», ИМЛИ АН СССР, апрель 1957) закрепили два теоретико-методологических сдвига, повлиявших на гальванизированную после XX съезда версию соцреализма и на позднейшую консервативную редакцию реализма.

Во-первых, приоритет отдавался историческим исследованиям реализма⁵². Оппонируя историческому подходу ученые (например, искусствовед Г.А. Недошивин), отстаивавшие важность типологизации и выявления сквозных линий в развитии мирового искусства⁵³, подверглись критике и вынуждены были отступить⁵⁴. По итогам дискуссии в ИМЛИ реализм был историзован, лишен «богоподобного прошлого», но сохранил свое привилегированное положение, ибо остался ядром прогрессистских концепций, обещавших соцреализму большое будущее⁵⁵.

Во-вторых, советские теоретики, вынужденные отвечать на ревизионистские упреки в устарелости соцреалистического метода, эстетическом пуризме, подозрительном отношении к новациям, должны были сформулировать консолидированное мнение относительно допустимости экспериментов. В итоге они вновь провозгласили реализм и соцреализм главными оппонентами модернизма, чуждыми тем не менее какой-либо эстетической архаичности: реализм и соцреализм в их истолковании парадоксально оказывались не модернистскими, но современными. Связь с современностью на уровне поэтики обеспечивалась эксплуатацией культурного капитала реализма, опять же отождествленного с классикой. Реализм в его высших проявлениях и декларативно классикоподобная литература помещались в центр подцензурного литературного поля, задавая диапазон допустимых и недопустимых отклонений от образцов и отделяя правильные/продуктивные новации от неправильных/опасных:

-
- 52 Перечислим несколько статей, определивших направление дискуссии и подытоживших ее: *Недошивин Г., Зись А., Мотылева Т.* Споры о реализме // Вопросы литературы. 1957. № 3; *Резов Б.* О литературных направлениях // Вопросы литературы. 1957. № 1; *Эльсберг Я.* Проблемы реализма и задачи литературной науки // Вопросы литературы. 1958. № 4–5.
- 53 Разграничение обсуждавшегося в ходе дискуссии в ИМЛИ широкого и узкого понимания реализма методологически было рудиментом философской дискуссии 1947 года, легитимировавшей «партийный историзм» и директивно предложившей трактовать историю философии телеологично — как движение к научному материалистическому мировоззрению, протекавшее в непрерывной борьбе с идеализмом (*Добренко Е.А.* Метасталинизм: диалектика партийности и партийность диалектики (Окончание) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2014. № 4. С. 261).
- 54 На наш взгляд, именно эта теоретическая установка, разграничивавшая «антиреализм» и «реализм» как две сквозные тенденции, исторически не локализуемые в рамках какой-либо одной эпохи, парадоксально отзовется в поздне- и постсоветской типологии «укорененного в бытии» миметического письма и письма, отвергшего миметические принципы ради пересоздания действительности в соответствии с представлениями художника о ней.
- 55 *Затонский Д.В.* Реализм — это сомнение? Киев: Наукова думка, 1992. С. 4–5.

...четкая позиция советских писателей: новаторство — да. Но, во-первых, не эстетско-формалистическое и, во-вторых, не противопоставленное классическому реализму XIX века и всем лучшим традициям мировой литературы⁵⁶.

Понимание реализма как инструмента отсева «экспериментального» было свойственно и неопочвенникам, которые пришли к нему в «долгие 1970-е», скорее всего, без влияния отчетливо звучащих консервативных мотивов официальной соцреалистической эстетики, а возможно, даже в пику ей. Частично их аргументация, вписанная в разветвленную систему антимодерных установок, пересекалась с аргументацией специалистов по соцреализму, но была более последовательной, поскольку почти не требовала реверансов в сторону «прогрессивного развития» мировой и советской литературы. По мнению неопочвенников, реализм⁵⁷ (классический и современный) отсеивал все чуждое традиции⁵⁸, стабилизировал конструкцию коллективной идентичности, утверждая ценности «наследования», «связи времен», «преемственности», и тем самым спасал — художников и аудиторию — от болезней модерности (субъективизма, нигилизма, индивидуализма, культа иррационального и т. п.). Фокус на реальности, необходимость вглядываться в нее и сверяться с ней, полагали консервативно ориентированные интеллектуалы, усмиряют необоснованные амбиции субъекта и желание перекраивать ее в рамках собственного творческого проекта.

Подобное понимание онтологии и эпистемологии реализма давало возможность обсуждать его преимущества как «мировоззрения» — разумеется, с оглядкой на нормы конвенционального идеологического высказывания — применительно к экономике, политике, экологии, истории или социальной

56 Ковалев В. Проблемы стиля в советской литературе // *Время, пафос, стиль: Художественные течения в современной советской литературе*. М.; Л.: Наука, 1965. С. 53.

57 Подробно доводы критиков, литературоведов и писателей консервативного толка против искусства авангарда рассмотрены в кн.: *Разувалова А.И.* Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С. 219–235. Суммируем здесь основные характеристики неопочвеннической интерпретации реализма, кристаллизовавшиеся в длительном споре с оппонентом. В отличие от авангарда, притязавшего на художественное (П. Палиевским, В. Кожинным, Ст. Куняевым подразумевалось, что и на политическое) пересоздание мира, реализму, признававшему субъектность противившейся «проектам» реальности (особенно в экологических текстах деревенской прозы), такие амбиции не были свойственны. Неопочвенники вообще трактовали реализм как тип письма, в наименьшей степени искажающий реальность. Природа реалистических литературных конвенций и «эффекта реальности» их едва ли интересовала, а вот «органичность» реализма, напротив, служила неотразимым аргументом против ущербного в своем «технологизме» и рациональности авангарда. Отталкиваясь от соцреалистического нормативизма, неопочвенники охотно передавали нормозадающую функцию реалистическому искусству: классика в их прочтении была воплощением «нормы» и «нормальности» (*Залыгин С.* Собрание сочинений. Т. 5. С. 458). Реализм наделялся способностью удерживать воображение (художественное или социальное) в задаваемых традицией онтологических и этических границах, в то время как авангард стимулировал иной тип субъективности (своеволие творца, культивирование чувства избранничества, крайний индивидуализм, гипертрофия Я).

58 См., например, характерные для национально-консервативной среды способы концептуализации традиции и традиционализма: *Кожин В.В.* Размышления о русской литературе. М.: Современник, 1991. С. 267–268; *Залыгин С.* Собрание сочинений. Т. 6. С. 379; *Солоухин В.А.* Слово живое и мертвое. М.: Современник, 1976. С. 223.

жизни, где консерваторы обнаруживали все то же губительное стремление современного субъекта перепроектировать реальность в соответствии со своими представлениями о ней. Пресечь современные социоинженерные фантазии, по мнению Залыгина («Литература и НТР», 1973), мог реализм, который должен был стать типом мышления и комплексом социально-терапевтических культурных практик. Общество, обладающее «чувством реализма», пояснял писатель, сможет избежать искушений прогрессизма и технооптимизма, блокировать чрезмерные амбиции науки и, наконец, сделать свое существование историчным:

... дело тут опять-таки <...> в чувстве реализма. Реализм понимает, что его нет без прошлого, что нельзя порывать с прошлым, причем не только чисто историческим, но и житейским, революционным, идейным, литературным, культурным, нравственным, потому что без этого всего ты уже не кто-то, а некто и даже нечто. Нечто сегодняшнее и архизэнтээр-р-ровское⁵⁹.

Впоследствии, выступая на VIII съезде советских писателей (1986), Залыгин уверял, что капитализмом из сознания людей «вытравляется реализм, <...> важнейшие понятия переворачиваются с ног на голову»⁶⁰. Если же искать «средства спасения» от «множества модернов», то окажется, что это, во-первых, «неприступные острова реализма» русской классической литературы, во-вторых, природа, которая по существу своему есть реализм и социализм⁶¹.

Очевидно, реализм, сводивший в дискурсивный узел литературный классикоцентризм, разоблачение капитализма и критику мегапроекта по повороту сибирских и северных рек, в прочтении Залыгина был неким аналогом «деловитости», но деловитости, руководствующейся высокими идеалами и потому не равной практицизму и утилитаризму. Проще говоря, реализм — удобный субститут неопочвеннической версии «постепеновства» с его идеей мелких и медленных изменений, опирающихся на исторический опыт и опыт локальных сообществ, на идею отказа от амбиций глобального планирования, слабо координирующего с реальностью.

Тогда же, во второй половине 1980-х, Залыгин напишет несколько рассказов в поддержку перестройки, чтобы изобличить присущее советской системе пренебрежение «реальностью». В одном из них, «Пресс-конференция КОМ» (1989), дискуссионные проблемы реформирования хозяйственно-экономического уклада СССР он заключает в гротескно-фантастическую оболочку, отсылающую к Гоголю и Достоевскому: советские бюрократия и «прозатратная экономика»⁶² предстают здесь миром призраков и мнимостей, успешно подменивших собою мир реальный. В публицистических выступлениях этого периода, прежде всего критиковавших проект переброски рек, он вновь настойчиво требует ввести «в технику и природопользование <...> доказательный реализм и этику»⁶³ и рассуждает об их спасительной силе:

59 Залыгин С. Собрание сочинений. Т. 6. С. 428.

60 Восьмой съезд писателей; Стенографический отчет. М.: Советский писатель, 1988. С. 32.

61 Там же.

62 Залыгин С.П. К вопросу о бессмертии // Новый мир. 1989. № 1. С. 31.

63 Экология. Экономика. Нравственность: «Круглый стол» в редакции журнала «Наш современник» // Наш современник. 1987. № 1. С. 113, 118.

...возможности нашего дальнейшего существования на Земле — это возможности реалистического мышления и действенной практики, и вот уже реализм перестает быть только «течением» или «направлением» искусства, а становится единственно возможным средством обеспечения будущего. <...> Мир может быть разрушен, потому что он реален, что реальны средства, ядерные и иные, его уничтожения. Значит, и спасен он может быть только средствами реальными и реалистическими⁶⁴.

Однако если прочитывать малую прозу и публицистику Залыгина второй половины 1980-х в контексте историософской дискуссии об исторической необходимости, итогом которой стало формирование перестроечного «утопического консерватизма»⁶⁵, то можно обнаружить интересный поворот: убежденный пропагандист реализма Залыгин включался в перестроечные споры если не как защитник утопии, то как внимательный аналитик ее ограничений и преимуществ. Обычные для него ламентации об утрате советским обществом реалистического самопонимания («... мы потеряли объективное представление о реальном мире, но пытаемся усовершенствовать мир, нами выдуманный...»⁶⁶) теперь неожиданно соседствуют не с проклятиями в адрес индуцированного утопическими экспериментами насилия, а с недоумением по поводу утраты человечеством, в том числе русскими, более других склонными к утопизму, способности порождать утопии⁶⁷. В эссе «К вопросу о бессмертии» (1989), программно открывавшем новогодний номер «Нового мира», он воспроизводит многократно повторенное в постсоветских дискуссиях утверждение «реализация утопии ведет к крови», но делает исключение для утопии, откорректированной реализмом. Ее задача, по Залыгину, не «строить рай на земле», а помогать «избежать ада»⁶⁸.

Впрочем, динамика в писательском понимании утопии (а также заключенного в ней потенциала насилия) и реализма как ее антидота все-таки была. В конце 1980-х Залыгин еще был склонен смотреть на утопию как на исторически сложившуюся форму репрезентации социалистических идей и альтернативу капитализму, в середине же 1990-х, возможно, под влиянием русской религиозной философии, его стала интересовать, во-первых, неустраивающая внутренняя антиномичность утопии (по его классификации «сомневающейся» утопии Достоевского, остающейся в сфере эстетического воображения, и радикальной, «нигилистической» утопии Ленина, осуществляемой в истории)⁶⁹, их симбиотическое существование, во-вторых, возможности «реализма», ограниченные все более очевидной писателю «противоприродностью» человека, подерживать предельность утопических вопрошаний, контролируя утопическое

64 Залыгин С.П. Поворот. М.: Мысль, 1987. С. 66.

65 См.: Атнашев Т. Утопический консерватизм в эпоху поздней перестройки: отпуская вожжи истории // Социология власти. 2017. Т. 29. № 2. С. 12–51.

66 Залыгин С.П. К вопросу о бессмертии. С. 38.

67 Утопия, устремленная к решению предельных задач человеческого существования (вопросов о бессмертии, равенстве, всеобщей справедливости), в залыгинских романах «Комиссия» (1975) или «После бури» (1982–1985) задавала надполитическую перспективу существованию вовлеченных в гражданское противостояние представителей разных сословий и групп российского общества и тем самым оправдывала саму идею социализма.

68 Залыгин С. К вопросу о бессмертии. С. 41–42.

69 Залыгин С. Два провозвестника // Новый мир. 1995. № 3. С. 164.

воображение. Другими словами, не в «утопии» или «реализме» видит он теперь панацею или, напротив, источник бед, а в «порче» современного человека, не сумевшего возвыситься до подлинно «экологического» мышления.

Любопытно, что и русская классическая литература, пропагандируемая Залыгиным на протяжении двадцати с лишним лет в качестве оплота реалистического мышления, на рубеже 1980–1990-х трактуется как высшее и общепризнанное достижение отечественного утопизма: именно классика, поясняет Залыгин, научает читателя быть другим и предлагает новый модус человеческого существования⁷⁰. Антиподом классики и «тщедушным отпрыском» «нигилистического утопизма» в эссе «Два провозвестника» (1995)⁷¹ оказывается социалистический реализм, симптоматично реанимированный писателем при обсуждении утопии. В середине 1990-х Залыгин наконец называет весь перечень главных соцреалистических пороков: это искусство, определившее собственные пределы политическим насилием и деформировавшее нормальную (консервативную) темпоральность аннигиляцией прошлого:

...соцреализм объявил себя родоначальником небывало новой литературы, новых взглядов на искусство в целом, на литературу прежде всего. Ну а затем и на всю остальную жизнь, сколько ее есть. <...> соцреализм не смог ничего другого, как низвести литературу до политики. Текущей. Он сделал это в полном соответствии с заветами Ильича, но и не без участия Достоевского⁷².

Соцреализм для позднего Залыгина — по-прежнему искусство, которое себя дереализовало, но дереализация теперь не сводится к презирующей «фактичность» нормативности эстетического высказывания. Ее причины лежат скорее в области безразличия к метафизическому и предельному⁷³.

Пришедшийся на 1970-е — первую половину 1980-х годов консервативный апдейт реализма завершился выработкой представлений о нем как об идеальном инструменте коррекции не считавшихся с реальностью культурных и социальных программ. Его оппонентами по-прежнему оставались модернизм и —

70 См.: Залыгин С. К вопросу о бессмертии. С. 39-40.

71 Залыгин С. Два провозвестника. С. 154, 175.

72 Там же. С. 154. Взгляд на соцреализм как на искусство, устремленное в будущее и демонстративно порывающее с прошлым, был, конечно, полемическим упрощением, нужным Залыгину и его единомышленникам, чтобы от соцреализма дистанцироваться и занять престижную в 1970-е годы позицию «продолжателей классики». Между тем темпоральная структура сталинского соцреализма предполагала размещение будущего в настоящем, идеала — в реальности. Такое искусство «имплицит[ует] не “прыжок в будущее”, а непрерывность и вечные ценности» (Гюнтер Х. Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон / Под ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 46), демонстрируя при этом богатые потенции к превращению в «окаменевшую утопию» (см.: Balina M., Dobrenko E. Petrified Utopia: Happiness Soviet Style. London; New York: Anthem Press, 2009).

73 См., например, в рассказе «Мистика» (1986) характерное для позднего Залыгина представление о соцреализме как о специфичной форме политики, безразличной к главным вопросам человеческого существования: «...бессмертия даже они не могли себе представить — все они, даже самые отъявленные мистики, тоже ведь были воспитаны в духе социалистического реализма» (Залыгин С.П. Собрание сочинений. Т. 6. С. 205).

в большей степени — авангард, за которым традиционалистами-неопочвенниками были закреплены смыслы эстетического и политического радикализма. Исключительно важный для коллективной идентичности неопочвенников, метонимически переносимый в другие социальные поля (от экологии до политики) разговор о реализме по мере сворачивания советских хозяйственно-экономических и научных проектов, становился все более схоластичным, а потом и вовсе прекратился, чтобы через несколько лет отозваться в литературоведческих исследованиях, авторы которых противопоставят упорядочивающий мимесис реалистической литературы и деконструирующие стратегии постмодернистского письма и создадут что-то вроде неотрадиционалистской теории реализма.

Если же возвращаться к позднесоветским неопочвенникам, уместно повторить вопрос: было ли в их рефлексии реализма место соцреализму? На наш взгляд, в позднесоветский период мы можем различить лишь след рецепции соцреалистического опыта, которая оборачивалась попытками раз за разом продумывать соотношение должного и сущего, проекта и реальности — не столько как эстетической, сколько как социальной практики. Понятно, что отсутствие развернутых суждений о соцреализме легко объясняется причинами институционально-доктринального характера: социалистический реализм, постоянно подновляемый, имитирующий жизнеспособность в качестве «исторически открытой системы художественных форм»⁷⁴, оставался основным методом советского искусства. Если не хотелось высказываться в его поддержку, то — в логике конвенционального литературного поведения в подцензурном поле — лучше было молчать. Тем не менее полное отсутствие соцреализма в качестве объекта осмысления в неопочвеннических эстетико-идеологических построениях «долгих 1970-х» кажется нам мнимым. Учитывая историю рецепции соцреализма теми же Астафьевым и Залыгиным, можно предположить, что он превратился в одно из синонимических обозначений советского проекта и его утопической составляющей, эксплицированной через семантику насилия и оборотничества. Потому рефлексия соцреализма в «долгие 1970-е» растворилась в писательских наблюдениях за медленной эрозией советского проекта. Дело, однако, еще в том, что провозглашение реализма онтологической антитезой авангарду и соцреализму определенным образом структурировало неопочвенническую критическую оптику, сохраняя в ней систему слепых пятен. Сосредоточившись на разоблачении «лжи» соцреализма и его идеологически-нормативного аспекта, дистанцировавшись от соцреалистических «фантазмов», неопочвенники не заметили структурной близости некоторых традиционалистских и соцреалистических топосов⁷⁵, не поставили вопрос об источниках подобной близости и амбивалентной роли реалистической «основы» соцреализма. Именно поэтому значимое отсутствие соцреалистического Другого в неопочвеннических литературно-публицистических построениях стоит проблематизировать более развернуто. Это позволит точнее определить, как полемически отрицаемый соцреализм воздействовал на характер и природу традиционалистского воображения и литературного мышления.

74 Марков Д.Ф. Проблемы теории социалистического реализма. М.: Художественная литература, 1978. С. 283.

75 См. постановку проблемы: Гройс Б. Утопия и обмен. С. 17.

Библиография / References

- Атнашев Т.* Утопический консерватизм в эпоху поздней перестройки: отпускная возжи истории // Социология власти. 2017. Т. 29. № 2. С. 12–51.
- (*Atnashev T.* Utopicheskiy konservatizm v epokhu pozdney perestroyki: otpuskaya vozzhizh istorii // *Sotsiologiya vlasti*. 2017. T. 29. № 2. S. 12–51.)
- Белая Г.А.* Художественный мир современной прозы. М.: Наука, 1983.
- (*Belaya G.A.* Khudozhestvennyy mir sovremennoy prozy. Moscow, 1983.)
- Бикбов А.* Грамматика порядка. Историческая социология понятий, которые меняют нашу реальность. М.: ИД ВШЭ, 2014.
- (*Bikbov A.* Grammatika poryadka. Istoricheskaya sotsiologiya ponyatiy, kotoryye menyayut nashu real'nost'. Moscow, 2014.)
- Гальцева Р.А.* Знаки эпохи. Философская полемика. М., СПб.: Центр гуманитарных исследований, 2009.
- (*Gal'tseva R.A.* Znaki epokhi. Filosofskaya polemika. Moscow, Saint Petersburg, 2009.)
- Гройс Б.* Утопия и обмен. М.: Знак, 1993.
- (*Groys B.* Utopiya i obmen. Moscow, 1993.)
- Гюнтер Х.* Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон / Под ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 41–48.
- (*Gyunter H.* Sotsrealizm i utopicheskoye myshleniye // *Sotsrealisticheskiy kanon* / Pod red. KH. Gyuntera i E. Dobrenko. Saint Petersburg, 2000. S. 41–48.)
- Давыдов Ю.Н.* Этика любви и метафизика своеволия. М.: Молодая гвардия, 1989.
- (*Davydov Yu.N.* Etika lyubvi i metafizika svoeyevoliya. Moscow, 1989.)
- Дедков И.А.* Дневник, 1953–1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005.
- (*Dedkov I.A.* Dnevnik, 1953–1994. Moscow, 2005.)
- Добренко Е.А.* Метасталинизм: диалектика партийности и партийность диалектики (Окончание) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2014. № 4. С. 253–298.
- (*Dobrenko E.A.* Metastalinizm: dialektika partiynosti i partiynost' dialektiki (Okonchaniye) // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*. 2014. № 4. P. 253–298.)
- Затонский Д.В.* Реализм — это сомнение? Киев: Наукова думка, 1992.
- (*Zatonskiy D.V.* Realizm — eto somneniye? Kiyev, 1992.)
- Каспэ И.* В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- (*Kaspe I.* V soyuze s utopiyey. Smyslovyye rubezhi pozdnesovetskoj kul'tury. Moscow, 2018.)
- Ковтун Н.В.* «Деревенская проза» в зеркале утопии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009.
- (*Kovtun N.V.* «Derevenskaya proza» v zerkale utopii. Novosibirsk, 2009.)
- Липовецкий М., Берг М.* Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики. Советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 477–532.
- (*Lipovetskiy M., Berg M.* Mutatsii sovetskosti i sud'ba sovetskogo liberalizma v literaturnoy kritike semidesyatykh: 1970–1985 // *Istoriya russkoy literaturnoy kritiki. Sovetskaya i postsovetskaya epokhi* / Pod red. E. Dobrenko i G. Tikhanova. Moscow, 2011. P. 477–532.)
- Разувалова А.И.* Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
- (*Razuvalova A.I.* Pisateli-«derevenshchiki»: literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov. Moscow, 2015.)
- Роднянская И.Б.* О Ренате Гальцевой со скоростью и с любовью (URL: <https://gostinaya.net/?p=22402>).
- (*Rodnyanskaya I.B.* O Renate Gal'tsevoy so skorb'yu i s lyubov'yu (URL: <https://gostinaya.net/?p=22402>.)
- Balina M., Dobrenko E.* Petrified Utopia: Happiness Soviet Style. London; New York: Anthem Press, 2009.
- Parthe K.F.* Russian Village Prose: Radiant Past. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Spechler D.* Permitted Dissent in the USSR: Novy Mir and the Soviet Regime. New York: Praeger, 1982.